

Юбилей

ТИХИЙ, неуклюжий еврейский мальчик, сын владельца лавочки на Ремесленной улице в Одессе, испытывал глубокое отвращение к математике и ненавидел медицину. Он никак не хотел соответствовать планам родителей — «типичных представителей еврейской мелкой буржуазии», как будет выражаться поэт в автобиографиях советского периода: «...их мечтой было сделать из меня инженера, в худшем случае — доктора или юриста». Согласно другой версии, прагматичные родители собирались пустить сына по коммерческой части. Но мальчик любил рисовать, любил историю, русский язык, литературу — единственные предметы, по которым он успевал. Наряду с сочинениями Стивенсона его культовой книгой стало «Слово о полку Игореве». Он активно участвовал в издании школьного литературного журнала, потом естественным образом перетек в литературный кружок — словом, все как у людей... Судя по воспоминаниям представителей «южной школы» — Юрия Олеши и Валентина Катаева, — Одесса находилась тогда в состоянии литературной экзальтации.

Кружок носил претенциозное (впрочем, вполне в духе времени) название «Аметистовые уклонь». На деньги очень богатого и тягущегося к «высокому» сына банкира издавались столь же изысканные альманахи: «Серебряные струны»



ПТИЦЕЛОВ, ИХТИОЛОГ, РОМАНТИК

3 (или 4) ноября 100-летие Эдуарда Багрицкого

и «Шелковые фонари», «Авто в облаках» и «Чудо в пустыне». Или — совсем уж таинственное «Седьмое покрывало». Простая еврейская фамилия Дзюбин мало подходила ко всей этой красоте, и молодой, атлетического сложения, со шрамом на щеке поэт выступал обычно под псевдонимами. Один из них — «Нина Воскресенская» — представляет интерес разве что для досуговой психоаналитика. Псевдоним «Багрицкий» попал в историко-литературную лузу. Но подчеркнем: если бы не было революции, в его жизни ничего не изменилось бы — кроме пафоса и сдвигов в метрике стиха.

До революции (1914—1917) Багрицкий работал преимущественно в режиссурной, романтически-экзотической стилистике (напоминающей о стихах Окуджавы 70-х годов). Современный язык, обычные слова казались ему «чуждыми поэтическому лексикону — они звучали фальшиво и ненужно». Зато к стати пришлось кобальды да эльфы, «маг в коллаке зеленом» да «восковая пастушка». И смеющийся мулат, и пугливая креолка, и «в алее голубой, где в серебре тумана прозрачен чайных роз тягучий аромат...» И «в таверне «Синий бриг» усталый шкипер Пит». В стихах сразу же проявились и музыкальный напор, и наступательная энергия, и заводящий (бальмонтковский) раскат:

Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны

И воздух чертили ударами шпал!
Именно эти строки из недописанного с удовольствием цитирует знающий толк в поэзии Катаев в своем «Алмазном венце».

Говорят, Багрицкий великолепно читал стихи — свои и чужие. Читал в литературных салонах (были и такие в Одессе), читал в парках с эстрады, читал с чьего-нибудь балкона... Но тут случилась Февральская революция, и Багрицкий, вместе с другими такими же эстетствующими юношами, помчал по полицейским участкам — выгонять городских! «Нам, мечтающим об оружии, сразу досталось оно в неограниченном количестве, — вспоминал поэт в 30-х годах. — Почти все мои друзья перестреляли друг друга от неумения обращаться с ним. Я прострелил себе левую руку...»

Местечковое, «мелкобуржуазное» еврейское воспитание и эстетские замашки не помешали Багрицкому чувствовать себя своим среди казаков — на Персидском фронте, за Каспием. В 1919 году он поступил в пропагандистский отдел Красной армии и с азартом занялся сочинением агиток, то есть работой по любимой специальности. Потом он скажет странную вещь: «Понимать стихи меня научила РОСТА». Возможно, подразумевая, что вечерами (по контрасту!) он, как и в мирное время, писал о всяких экзотических предметах: о Фландрии, о ландскнехтах, о Летучем Голландце и т.п. Хотя, с другой стороны, в духе уже нового времени было отношение к поэзии как к глобальному агитпропу, в который входило все, включая Пушкина — «поэт походного политотдела, ты с нами отдыхаешь у костра».

Опыт Гражданской войны, в значительной степени воспринятой Багрицким как еврейский погром, пойдет в дело потом, в «Думе про Опанаса» (1926), например: Опанас глядит картиной
В лапaxe косматой,
Шуба мертвого раввина
Под Гомелем снята <...>
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота,
Бить жидов и коммунистов —
Легкая работа!

Сам поэт объяснял поэму по-конструктивистски красиво: «Опанас» был написан из-за синкопа, врывающихся, как мажорские таканки, в регулярную армию строк». Любопытные результаты может, кстати, принести сравнение «Опа-

наса» со «Странной негодяев» (1923) Есенина, которая тоже посвящена Нестору Махно и тоже затрагивает «еврейский вопрос», но — с другой стороны. На самом деле Багрицкий все время пытался если не порвать со своим еврейством, то хотя бы смотреть на него с некой, безразлично-отстраненной дистанции. Выходило натуралистично и жутковато: «Любовь? Но съеденные вами кося; ключица, выпирающая кося; прыщи; обмазанный селедкой рот да лошадиной шеи поворот. Рогатели? Но, в сумраке старая, горбаты, узловаты и дики, в меня гадяют ржавые евреи обросшие щетиной кулаки...» («Происхождение», 1930). Физиологизм Багрицкого сказывался, впрочем, даже в его теоретических построениях: «В стихе не может быть мертвых клеток. Аппендицит абсолютно невозможен. Стихотворение рождается без слепой кишки...». Так что детское отвращение к медицине, судя по всему, было вполне преодоляемо.

Если бы не астма, то послереволюционная жизнь была бы для Багрицкого просто малиной. «Аметистовые уклонь» он с легкостью сменил на ЛЦК («Левый центр конструктивистов») и РАПП. На место креолок, кобальдов, эльфов и прочей сказочной нечисти аккурратно стали «механики, чекисты, рыбоводы» и не менее романтические контрабандисты (ехидный Катаев утверждал, что, вопреки легенде, возникшей благодаря «Контрабандистам» (1927), Багрицкий «ужасно боялся моря и старался не подходить к нему ближе, чем на двадцать шагов»). На месте исторически яркой личности Суворова из ранних (1915) стихов появился сам Феликс Эдмундович, в поэме «ТВС» (1929) попросту заглянувший к поэту в гости — потолковать. В «ТВС» — те самые строки, которые когда-то возмутили Станислава Куняева. Это и в самом деле жутко звучащее революционно-чекистское credo, изложенное Дзержинским:

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Игу и не бойся

с ним вровень встать.
Твое одиночество
веку под стать.

Оглянешься — а вокруг враги;
Руку протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет:

«Солги» — солги.
Но если он скажет: «Убей» —
убей...

Куняев увидел здесь апологию аморализма и презрение к человеческой жизни и точно подметил натуралистическую — «со знанием дела» — струю. Да, советские стихи Багрицкого — возвышенно-некрофильские.

Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной

голова...
«Шестидесятники» (в частности, Евгений Евтушенко) пытались защитить «своего» Багрицкого от «почвенника» Куняева. «Шестидесятники» всегда его любили, особенно Александр Галич, часто говоривший о влиянии Багрицкого на свою песенную поэзию. Но чего уж там теперя! — лучшие, самые громкие и звонкие стихи Багрицкого писались (как и рассказы Бабеля) в то славное время, когда жизни человеческой цена была копеечка... И голос Багрицкого — голос человека, для которого (если, конечно, речь идет о «врагах») это нормальный ход вещей. По-своему замечательна поэма «Последняя ночь» (1932), посвященная убийце эрцгерцога Фердинанда студенту Принципу: «Быть может, он скажет мне, о чем мечтать и в кого стрелять, что думать и говорить...», — надеется лирический герой. Но романтика убийства и смерти чеканилась, надо признать, в великолепные строки:
Возникай содружество
Ворона с бойцом, —
Укрепляя мужество
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая

Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

(Песня из поэмы «Смерть пионерки», 1932).

Хотя по-прежнему писал он и такое: «И я была девушкой юной, сама не припомню когда...» — песня из «Веселых нищих» (1928), которую поют по сей день.

Видимо, из-за прогремевшей «Смерти пионерки» Багрицкий стал считаться чуть ли не детским поэтом и много общался с ребятами (к которым, строго говоря, его вообще нельзя было подпускать!). Он по-конструктивистски добросовестно объяснял подрастающей смене: «И вот я написал «Смерть пионерки» — в виде сказки (хороша сказочка! — В.Ш.)... Грозу в стихотворение я ввел для того, чтобы... Тогда я ввел туду песню...».

В Одессе он держал в клетках птичек и играл роль беззаботного птицелова. В Москве, наоборот, — в аквариумах разводил рыбок и говорил: «Я — ихтиолог, и это одно из основных моих занятий». Ихтиолог — не ихтиолог, но рыбные сюжеты возникали постоянно. В цикле «Победители» (содержание которого резко опрокидывает его название), кроме странноватых стихов про ветеринара, про Держинского и про веселых нищих, можно обнаружить романс карпу, оду рыбоводу и малопритяжные (опять же натуралистические) стансы об икре... А «Смерть пионерки» (1932) оказывается в каких-то загадочных, но безусловных связях с известным «Карасем» (1927) Николая Олейникова. У Багрицкого: «Валя, Валентина./ Что с тобой теперь?/ Белая палата./ Крашеная дверь...» У Олейникова: «Жареная рыбка./ Дорогой карась./ Где ж ваша улыбка, / Что была вчерась?./ Белая смородина / Черная беда./ Не гулять карасику / С ними никогда...» Или у Багрицкого: «Боевые лошади / Уносили нас./ На широкой площади / Убивали нас...», а у Олейникова: «Карасихи-гамочки / Обожили вас — / Чешую, да ямочки./ Да ваш рыбий глаз...» И так далее, имея еще в виду олейниковское: «Помню вас ребенком / Хохотали вы...» (Как это получилось — отдельный разговор.)

«Когда умер Багрицкий, — вспоминает Олеся, — его тело сопровождал эскадрон молодых кавалеристов». Что ж, жизнь закончилась в тех красочных декорациях, которые он всегда любил как романтик — независимо от содержания. Его счастье, что он умер в 34-м, а то или бы посадили, или — более вероятный вариант — совсем бы скурвился (как Николай Тихонов, например). А так эманация поэтической энергии до сих пор исходит от этой зловеще-привлекательной фигуры. Как показывает жизнь, имя «Эдуард», которое в честь Багрицкого родители дали младенцу Савенко в 1943 году, в конце концов сказалось на национал-большевики Эдуарде Лимонове, выбравшем себе девизом «Смерть!». И еще одно современное наблюдение: Бахыт Кенжеев с той впечатляющей силой, с которой только один поэт может читать стихи другого, прочитал как-то:

Мы — ржавые листья
На ржавых губах...
Чуть ветер,
Чуть ветер —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою
теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине
нашей пройдут?
Потопнут ли нас
— трубачи молодые?
Взойдут ли над нами
созвездья чужие?
Мы — ржавых губов
облетевший уют...
Бездомною стужей
уют раздуваем...
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!
Как спелые звезды,
летим наугад...
И добавил с такой же силой:
«Фашист, конечно!.. Но какой поэт!» На том и поставим точку.